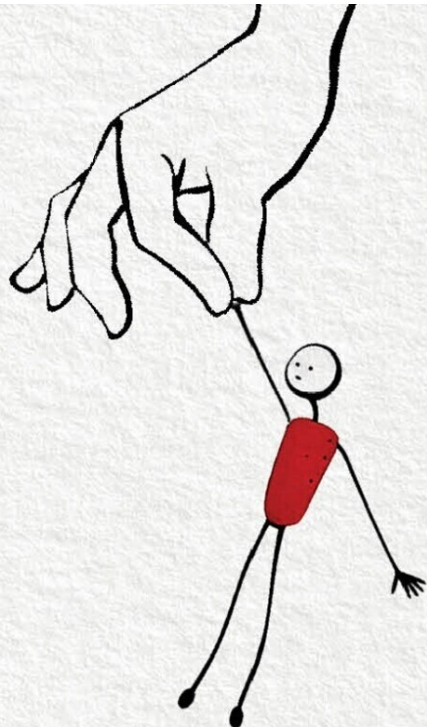


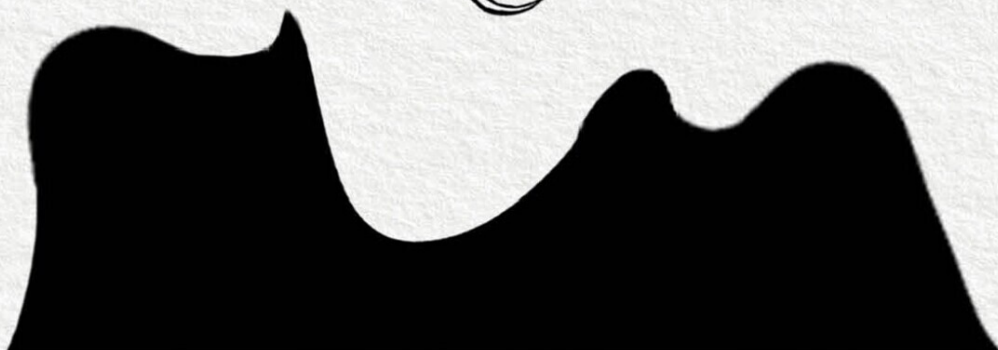
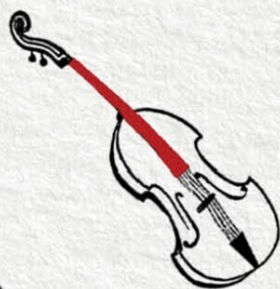
INSPIRIA

18+



НИЩЕТА

АНЖЕЙ ТИХИЙ



INSPIRIA

Loft. Современный роман

Анжей Тихий

Нищета

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шв)-44

Тихий А.

Нищета / А. Тихий — «Эксмо», 2016 — (Loft. Современный роман)

ISBN 978-5-04-188585-4

Мальмё, Швеция. На автобусной остановке виолончелист встречает бездомного наркомана. Это мог быть я. Музыкант уносится мыслями в свое прошлое: о музыке – старой и новой, о классике, джазе, рэпе, о бедности, потере близких и тяжелом физическом труде, чтобы просто выжить. Это не будет история о том, как бедный мальчик стал известным виолончелистом. Это гимн маленькому человеку, тем, кто не преуспел, как бы усердно они ни боролись. От разросшихся жилых домов до андерграундных клубов и сквот-тусовок «Нищета» – это стремительное путешествие по изнанке европейских городов. «Полифония голосов тесно вплетена в повествование, напоминающее сложную музыкальную композицию. Книга обрывается резко, как могла бы закончиться авангардная музыка, но ее вибрации продолжают наполнять воздух». – The Guardian

УДК 821.113.6
ББК 84(4Шв)-44

ISBN 978-5-04-188585-4

© Тихий А., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

22

Анжей Тихий

Нищета

© Шаболтас А., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Одна лишь противоречивость и является доказательством того, что мы не есть всё. Противоречивость – это наша нищета, а чувство нищеты – это чувство реальности. Потому что наша нищета не нами создана. Она настоящая. Именно поэтому ее нужно лелеять.

Симона Вейл. Тяжесть и благодать¹

В последний день – вечером в пятницу в начале октября, – стоя внизу у канала, около покрытой гравием дорожки между водой и зданием полиции, я ждал гитариста и композитора. Я стоял и думал о восковом плюще, чьи бело-розовые ароматные лепестки распустились за ночь, и о кое-каких уроках, которые, как мне казалось, я смог вынести из напряженного и в одинаковой мере удачного исполнения пьесы Шельси на утренней репетиции. И как раз, когда я безуспешно пытался вспомнить имя итальянского философа, написавшего длинное и исключительно глубокое эссе о произведениях Шельси и значении этого композитора, ко мне подошел парень и спросил, не найдется ли у меня монетки для бездомного; порывшись в правом кармане, я нащупал купюру в двадцать крон, неровно сложенную, помятую, и отдал ему. Он молча взял ее и сунул в карман своей черной куртки, капюшон которой, отделанный мехом, скрывал большую часть его головы. Я стоял, и курил, и видел, что он смотрит на сигарету, следя за ней глазами. Я это видел, но не угостил его. Я посмотрел на него, прямо ему в глаза, и не испытал страха. Это был молодой парень, некрупный, хилый, и я подумал, что, если он дернется, я без проблем собою его с ног. Даже если у него есть нож или пистолет. Он смотрел на сигарету, которую я поднес к губам. Я затаился, а затем моя рука опустилась от подбородка вниз к животу, примерно до пупка, и я увидел, как он отследил движение взглядом. Я выдохнул. Дым и огонь, бумага и табак. Я бы мог предложить ему сигарету, но не подумал об этом. Он бы мог попросить, но не сделал этого. Еще я заметил, что он смотрит на мой велосипед, прислоненный позади меня к деревянной скамейке или, может, к электрошлиту. Потом он сказал, что ночью, прошлой ночью, его избили. Он сказал: Я не знаю, где мне ночевать, и меня вчера избили. Он сказал, что кто-то ударил его по ребрам и по лицу. Я посмотрел на него и увидел синяк и маленькую ссадину на левой щеке, на скуле. Я спросил: Кто тебя избил? Он ответил что-то неразборчиво. Он произнес имя. Язык двигался у него во рту. Он промямлил имя, которое я не разобрал. Я спросил почему, и он пролепетал, что они *слишком много торчат*. Он сказал: Он – шлюха. От этих слов я немного попятился, как будто их резкость была слишком интимной, и тут же вспомнил Роберта, друга детства, с которым недавно столкнулся, солнечным днем у моря, около поля Лимхамнсфельтет перед любительским матчем. Мы много лет не виделись. Теперь он был здоровым и накачанным, ничуть не напоминая того тощего подростка, которого я помнил, и он рассказал мне спокойным тоном, без стыда или раздутого хвастовства, что сидел, что, когда его застигли врасплох при взломе, он ударил одного парня отверткой. Роберт отсидел пару лет, освободился и нашел работу на каком-то заводе оптики или чем-то подобном. Он сообщил, что сейчас все нормально, что хорошо иметь работу. Я коротко рассказал, чем занимаюсь последние годы. Упомянул среднее образование, музыкальный вуз и будни музыканта-фрилансера. Все нормально, добавил я и заметил, что полная занятость – это хорошо. Он ответил, что она у него не полная. Он работает по часам. Но работы хватает, сказал он. Потом он спросил, езджу ли я в Прагу. Я сказал: Нет, последний раз был там

¹ Перевод Н. В. Ликвинцевой.

пару лет назад. Он заметил: Офигеть какие классные шлюхи в Праге. Я промолчал, скользнув взглядом по свеженанесенной боковой линии, до самого углового флажка, маленького оранжевого знамени на сильном ветру. Когда я снова посмотрел на Роберта, он уже отвел взгляд. Не знаю, что произошло. Думаю, мы пожали руки и сказали: Да-да, не кисни, чувак, счастливо! А потом мы разошлись. Ветер поднимал большие клубы пыли над сухими гравийными площадками. Я смотрел вслед Роберту, смотрел на его лопатки и мышцы спины и думал, что должен это кому-нибудь рассказать, но так и не рассказал, даже гитаристу с композиторшей. Я стоял, смотрел ему вслед и вдруг вспомнил, как однажды он мне помог в дворовой драке. Я дрался с Карлосом, вроде из-за девушки, Виктории, она была рядом, вроде накрашенная – ее я как-то встретил ночью много лет спустя, когда покупал бургер в киоске на площади Мёлевонгсторгет, она там работала, стояла в униформе сети «Сибилла» и жарила картошку во фритюре, притворяясь, что не узнает меня, – и я удерживал Карлоса в каком-то захвате, так что он не мог дышать, а кофта у него задралась, оголив поясницу, и тогда вперед, с зажигалкой и банкой с каким-то спреем, типа дезика, выскочил Роби, поджег газ и подпалил Карлосу спину. Всего три-четыре секунды, но тот заорал, и я отпустил его, и он попятился и остановился перед кирпичной стеной, и по нему мы видели, что он проиграл, что он боится и готов сдаться. Но фишка в том, что он был моим другом. Он был маленьким крепким чилийцем. Умным математическим вундеркиндом. Вроде жил у родителей отца из-за того, что отец наркоманил и бухал, – пару раз, много лет спустя, мне показалось, что я его папу видел, тот сидел на скамейках у площади Вэрнхемсторгет, и каждый раз мне приходилось сдерживаться, чтобы не подойти и не спросить, что случилось с его сыном, с его маленьким Карлитом, моим другом, – а что с его матерью, я не знал. Вроде она была шведкой, не помню, видел ли я ее когда-нибудь. Там вроде проблема имела с родительскими правами, по крайней мере, когда он был младше, типа в начальной школе. Однажды, когда мы учились во втором или третьем классе, к площадке у супермаркета, около школы, подъехала машина, оттуда кто-то выскочил и затащил Карлоса внутрь, в разгар перемены, когда мы во что-то играли, в шарики или что-то вроде того, и нам показалось немного странным, что кто-то может просто возникнуть из ниоткуда и просто затащить ребенка в машину, как будто это происходило в кино, а не в реальности. Но мы ведь все сами видели. Что это могло значить? Точно не помню, к чему мы тогда пришли. Через пару дней Карлос вернулся и наврал что-то, ему никто не поверил, но больше мы об этом не говорили. Жили обычно очень просто. Дома, как правило, строили из глины или обмазывали глиной, часто в них была всего одна комната. Большинство домов имели плоскую крышу, в таком жилье семья могла отдыхать, спать и работать. Крышу делали из хвороста, глины и земли. После сильного дождя ее приходилось подравнивать. Много лет спустя я услышал, что он наркоманил и тусовался с малолетками, заставлял их выполнять поручения, чтобы, видимо, самому не загреметь в тюрьму, но в школе кто-то сказал детишкам, что не стоит с ним водиться, тогда он пришел в школу и стал угрожать учителям. Не знаю. Что тут скажешь? Так глупо. Эта фишка про взгляд. Может, это все выдумки, что нельзя опускать глаза, ну, ты понимаешь. А если опустишь, то ощущения так себе. Что тут скажешь? Тут на самом деле нет ничего странного, даже если ты считаешь иначе. Мы с Робертом, наполовину поляком, обычно тусовались с польским цыганом по имени Тони, мы звали его Монтана ², серьезно, и он расхаживал в костюме и, прикинь, с золотой цепью и цацками – полный набор, – любил засовывать сотки под пленку или, как там это называется, на пачке сигарет, выпендривался, как мы говорили, и вот один раз я встретил его у школы – ну, знаешь, я ему нравился, не представляю почему, может, потому что мы иногда болтали на польском, и он был слишком молод, чтобы понять, что это ничего не значит, ну что поляки ненавидели его так же, как шведы, не знаю – короче, я

² Тони Монтана – герой драмы Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом», экранизированной в 1983 г. Оливером Стоуном. – *Здесь и далее прим. перев.*

подскочил к нему, а он стоял там с велосипедом, цепь слетела, такой шоссейник из 80-х, и тут я говорю, что его легко починить, просто переверни велик вверх колесами и мы все поправим, но он такой: нет, забей, измажешься только, оставь, пойдем, давай со мной к Лусиано, моему брату, в Круксбэк, и мы пошли, и он сказал, ты клевый, можешь брать мои сиги, пока идем, и он достал пачку «Мальборо», но тут он вдруг взбесился и сказал, что потерял сотку, которая там лежала, и, пока мы шли, навстречу попался парень, нам не знакомый, но я видел его в школе, учился в девятом классе, ботан, швед, и когда он проходил мимо, Тони такой: слышь, почини мой велик, и парень такой: не могу, не знаю как; в смысле? – говорит Тони, в смысле не знаешь как? – просто поправь гребаную цепь, чувак, это просто, сделаешь на раз-два, и до смерти напуганный парень снова такой: но, но, но я не знаю, и все такое; и Тони подсказывает и с разворота бьет его в голову, попадает типа по щеке, не очень сильно, без крови и все такое, но все равно я немного офигел, и вот парень уже на коленях, руки трясутся, возится с цепью, руки все черные, я сказал Тони, успокойся, но я ведь сам его боялся, как и все, в конце концов мы все починили втроем, Тони держал велик, а я крутил педали, и парень, по-моему, его звали Даниил, как того со львом из Библии, или как в той песне Элтона Джона ³, и парень возился с маслянистой цепью, пока та не встала на место, потом он свалил, а мы выкурили еще по сиге, и потом он, Тони, уехал на велике, а я пошел дальше, между делом высматривая на земле сотку, которую он, возможно, потерял. Реально, мне ведь не нравилась его манера – наезжать вот так на невиновных – по крайней мере, так я тогда считал, а может, именно это мне и нравилось, может, мне было интересно и немного прикольно, немного забавно наблюдать, как на кого-то наезжают, когда я сам в этом не участвовал, не знаю – но все равно Тони мне нравился, у нас была какая-то связь, и однажды он мне помог, когда я повздорил с парнем из особняка, из Бельвю, с богатеньким сынком (я нашел его в сети много лет спустя, тогда он стал довольно известным поваром), который запрыгнул в окно, когда у нас шел урок, ну по некоторым предметам я ходил в так называемый коррекционный класс для трудных учеников, нас там было немного, и там, правда, было поспокойнее, но он запрыгнул и начал ругаться с пацаном по имени Ларс, тот был очень маленьким для своих лет, сидел на гормоне роста и все такое, и второй парень, который богач, он был на год-два нас старше, так что я влез между ними и позадирался немного, потом его выкинули вон, а мы с ним снова столкнулись и начали драться, но молотили друг друга недолго, пока нас не разняли учителя, и тогда кто-то закричал, что мы должны встретиться у холмов ⁴ в полдень, и потом мы там встретились и дрались, он отбил мне кусочек переднего зуба слева, я все еще чувствую неровность языком, сегодня, типа двадцать пять лет спустя, и, видимо, пара моих ударов и пинков попали в цель, достаточно удачно, чтобы до него дошло, что нельзя меня унижать просто так, и в итоге мы устали, и круг зрителей поредел, и мы перестали драться, получилась типа ничья, но фишка в том, что позже об этом узнал Тони и пошли слухи, что он собирается богача убить и, прикинь, все знали, что он чокнутый, и у нас был еще один товарищ, Марцин, поляк, они с богачом столкнулись на парковке, началась драка, ничего серьезного, но знаешь, Марцин был из Русенгорда и имел там кучу приятелей, ну а Тони знал всех цыган в Мальмё – так вот пошли всякие слухи, и то ли богач зассал, то ли кто-то настучал, но в итоге учителя вызвали меня и богача на что-то типа мирных переговоров, хотя я больше не имел к этому отношения, мы ведь типа сошлись на ничьей, но теперь мы там сидели и должны были извиниться, пожать руки и все такое, не помню, чем они угрожали, но я это сделал, и он тоже, и я попросил Марцина с Тони дать задний ход, и они так и сделали, а потом, как я уже говорил, он стал поваром, кажется, довольно известным, но все равно был типа свиньей, я же помню, что он жил в особняке, разъезжал на

³ Имеется в виду хит Э. Джона и Б. Топина «Дэниел» (Daniel) из альбома «Не стреляй в меня, я всего лишь пианист» (1973).

⁴ Имеется в виду территория парка Круксбэк в Мальмё.

своей новой гребаной «Хонде МТ-5», пока мы с Родриго делили угнанный мопед «Пуч Макси» со сломанным передним колесом, мы сперли его у Хамзы, который, естественно, спер его еще у кого-то, и это было не то чтобы безопасно, ведь Хамза был совершенно безбашенный, стрелял людям в глаза из мягкой пневматики и все такое. Что тут скажешь? Жили обычно очень просто. Мы, то есть я, Карлос и близнецы Кассем, Роби и кто-то еще, частенько сидели на лестнице и жгли пластик. Банки, пакеты, все подряд. Не знаю, почему нас это так завораживало. В основном мы говорили о звуке капающего на каменные ступеньки пластика. Хлюп, хлюп, капал он, и всю эту игру мы называли «хлюп-хлюп». Вроде началось все с того, что кто-то научил нас делать маленькие дымовые шашки из шариков для пинг-понга и фольги. Сначала добываешь шарик и фольгу, заворачиваешь в нее шарик, она должна быть ровной, не мятой, а затем поджигаешь, фольга сгорает, шарик начинает медленно гореть и сильно дымиться. Дым разъедает глаза. Дома обычно делились на две части, одна для людей и одна для животных. Там, где жила семья, делалось небольшое возвышение с утоптанной глиной в качестве пола. Окна были маленькими, без стекол, а свет давали небольшие масляные лампы. Семья простого крестьянина почти не имела мебели, кроме пары грубых шкур для сна. Женщина отвечала за хозяйство – готовку еды, уборку, прядение, плетение и шитье. Она также помогала в поле, иногда на виноградниках и учила детей, пока они были маленькими. Ели, как правило, два раза в день – легкий завтрак с хлебом, фруктами и сыром и вечерний прием пищи, состоящий из мяса, овощей и вина. Так и шли годы. Он пробурчал что-то про наркотики. Я спросил, какие наркотики, и он сказал: Слишком много всяких. Руфи, спиды, гера. Слишком много. Урожай зерна, урожай чечевицы. Зреет ранний инжир. Не знаю, где буду ночевать сегодня. Урожай винограда. Сколько тебе лет? Урожай оливок. Двадцать четыре. Он делает вдох. Летний инжир, финики. Ступай. Будем за тебя молиться. Зимний инжир, пахота. Посев. Урожай лимонов. Еще год прошел. А он, как идиот, сказал, что в этом ничего хорошего. Он сказал: Братан, знаешь... так не пойдет. И я вроде как кивнул и одновременно покачал головой, потому что я знал и не знал, и сказал: Я знаю, брат. А потом я ушел. И все продолжало крутиться у меня в голове. И он, как идиот, сказал, что в этом ничего хорошего, в той жизни, которой я живу, ничего хорошего, чувак, ты молод и все такое, и я ответил, что я знаю, чувак, я не дурак, и он, как старший брат или, может, папаша, нет, не как папаша, тогда бы он меня поколотил, так я подумал, что он, как говорится, вправил бы мне мозги, как настоящий папаша, но нет, и он снова сказал, что в этом ничего хорошего, сказал, что тоже *подобным занимался*, говорил, как полный придурок, но что он завязал, что он абсолютно *чист*, абсолютно *clean*, и я посмотрел на него, как на брата или кого-то вроде, клянусь, он сказал: Он больше не торгует, больше не накуривается, клянусь, я сказал, типа поднял на него глаза и сказал: Ты че, совсем завязал? Ходил обдолбанный и грязный, как тень, вдоль обочины в черной куртке, надвинув капюшон. Кожа в трещинах и влажная, пропахшая табаком одежда, из которой торчала голова и лицо. Ходил и щелкал зажигалкой в кармане. Я ответил: Да, брат, у меня теперь дети, семья и работа, теперь все должно быть нормально, слушай... так не пойдет. И потом прошло несколько лет, и потом я снова проходил мимо, и потом он посмотрел на меня и сказал *мне стыдно за тебя* и потом *черт, какой ты стремный, чувак*. Я ушел. И все крутилось у меня в голове, всю ночь, все ночи. Потом пришел гитарист, и композиторша вздохнула: опоздали, и по гитаристу я увидел, что он перенервничал, и он извинился, и я сказал, что ничего страшного, и композиторша сказала, что вроде у нас еще много времени, и мы пошли, и я как раз собирался рассказать о торчке, как гитарист спросил: А помните?

За ночь распустились цветки воскового плюща, и утром, во время репетиции, я видел, как они дрожат не из-за – как я сначала, немного самоуверенно, себе вообразил – виолончели, чьи струны я изо всех сил старался укротить согласно наставлениям Шельси (или, скорее, наставлениям одного его толкователя, у Шельси ведь был помощник, так называемый

негр, писавший для него ноты; Тосетти, или как там его звали), а из-за товарного поезда, который проехал в двухстах-трехстах метрах мимо моего дома, отчего мое окно и весь дом слабо загудели на низких частотах, и, наверное, в лице торчка, в белках его глаз, я увидел что-то, что снова навело меня на эти мысли о жестких бело-розовых лепестках, вибрирующих и блестящих, в равной степени мертвых и живых. Мы шли вдоль канала, и гитарист сказал: А помните, что мы слушали, сколько, почти пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет назад? Того самого Лорена Коннорса. Его альбом «Airs»? Я плохо слышал, что он говорил, приходилось напрягаться, чтобы совсем не отключиться. Это ведь его звали Маццакан? – спросила композиторша. Да, точно, сказал гитарист. Ага, кивнула композиторша, доставая тем временем пакетик с какими-то таблетками для горла, лакричными или мятными пастилками. Ну да, помню такой типа импрессионизм, когда он просто долбит по кругу, по кругу какой-то типа минорный аккорд. Она протянула нам пакетик. Гитарист взял одну пастилку, а я чуть покачал головой. Да, сказал гитарист, перекаывая языком конфетку, что напомнило мне слегка ватный, слюнявый рот торчка, наверное, он использует строй Open C ⁵ и получается так, как будто он играет слайдом, но без слайда, а просто по кругу, по кругу, по кругу, и все мелодии одинаковы, все время какая-нибудь пентатоника, так мне во всяком случае кажется, и вроде это не должно работать, но работает, звучит не так китчево, как можно ожидать, и, думаю, тут дело в ритме, в том, что он неровный, текучий, парящий, такое впечатление, одно то, что он называется «Airs», что значит воздуха, типа множественное число от слова «воздух», так ведь нельзя, хотя альбом к этому не имеет отношения, он явно уходит корнями в кельтскую или ирландскую арфовую музыку, сказал он, и я попытался что-то сказать, но типа завис и вместо этого достал еще сигарету и закурил, и снова попытался что-то сказать, но не смог, как будто что-то сломалось, треснуло, лопнуло, палочка или ниточка, необходимая для речи, а мы шли по гравиям, который ритмично трещал и хрустел, и композиторша слушала, а я слушал и не слушал, и гитарист продолжал говорить о Коннорсе: Тут нужно особенно отметить Торлу О'Каролана, типа XVIII век, по крайней мере в XVIII веке он умер, в 1738-м вроде, не знаю, родился он в XVII веке, то есть тогда ведь жили недолго, ну да ладно, последнее произведение, что он написал, уже типа на смертном одре, называлось «Carolan's Farewell to Music» ⁶, и вот это мне нравится, то есть что он прощался не с жизнью, не с миром, а с музыкой, и... Он запнулся. Я набрал воздуха и сказал: Ага-а, значит, он не верил, что получится писать музыку после смерти. Ясное дело, что нет, сказал гитарист, и мы шли дальше вдоль канала, и я смотрел вниз на гравий, вниз на камни гравия, и слышал вот эти звуки, и я почувствовал что-то, какую-то разлитую боль, и я размышлял, типа фоном, пока говорил, не рассказать ли им что-нибудь. Но что? Я не хотел сгущать краски. Это чувство, боль, которую невозможно описать и найти ее источник, была хорошо знакома, но неосвязаема. Что я мог сказать гитаристу и композиторше? Какие слова подобрать? Возможно, это нельзя объяснить, возможно, это нельзя описать, нельзя говорить об этом, думать об этом, это, как говорится, хоть убей, невозможно, наверное, мне не стоит это упоминать, наверное, лучше просто промолчать, продолжать слушать, наверное, она потом сама пройдет, так я размышлял, а мы шли дальше, мы шли дальше вдоль канала, бок о бок, и я услышал голос композиторши, и тут же вспомнил брата Роби, который тоже сидел за что-то, и угловой флажок, и облако над гравием, и у меня пересохло во рту, я вдохнул и взглянул вверх на высотное здание перед нами, увидел, что там на крыше кто-то шевелится, и подумал о Копенгагене, куда мы собирались на концерт в Церковь Богоматери, в кафедральный собор – где Моосманн должен был, помимо прочего, сыграть «In Nomine Lucis» ⁷, – и я подумал о Санне из Копенгагена, и я слышал голос композиторши, но не

⁵ Имеется в виду гитарный строй, в котором на открытых струнах звучит аккорд C (до).

⁶ «Прощание Каролана с музыкой» (англ.).

⁷ «Во имя Света» (лат.).

мог слушать, потому что одновременно слышал голос Роби и видел, как удаляется спина Роби, она становилась все меньше и меньше, но голос у меня в голове оставался таким же настойчивым и звучным. Офигеть, какие классные шлюхи, сказал Роби, и я подумал о Санне, которая упала с четвертого этажа и каким-то образом пережила тот прыжок, то падение, Санна, выросшая на Центральном вокзале, воспитанная, как она сама говорила, клиентами проституток на Сенной площади, там была группа, не знаю, из пяти-шести детей тринадцати, четырнадцати лет, которые держались вместе. Санне называла их «девочки со спичками» и «гадкие утятя», она работала психологом в кризисном центре, куда они иногда приходили (не совсем понимая, размышляю я сегодня, как такая характеристика, такие сравнения на них влияли). Чаще всего они обитали в центральных районах Копенгагена – Вестербро, Норребро, Эстербро и Кристиания, – но бывало, что я навещал Санне в квартирке в Исхое, где жил ее брат. Я встречал их в Кристиании, по дороге в Орхус, Гамбург, Марсель или Стамбул, и мы сразу узнавали друг друга, так мне помнится. Мы – как она говорила, несостоявшиеся аборт, – все находились в одном месте, в месте, где сильно штормило, куда приходили, сбегаая от всего, от мглы и насилия, чтобы раствориться в чем-то другом, в другой мгле, глухоте, покое. Ночами мы бродили, спали на лестнице, скамейках и в парках, на кладбищах и у разных в большей или меньшей степени мерзких людей, на которых случайно наталкивались или потому что у них было то, в чем мы нуждались, чаще всего деньги. Санне. Нико, Вотан. Виви. Лис, чертов хиппи. И я заметил, что гитарист задал мне какой-то вопрос, так что я взглянул на него, пробормотал пару слов и кивнул, а он тем временем повторял: *Это не должно работать, но все-таки работает*, несмотря ни на что, то есть все это довольно круто, парящие, легкие мелодии, и я думал о ребрах торчка, думал о боли и думал обо всех сотнях, а то и тысячах раз, когда оттачивал удары в корпус в разных залах, где с потолка капал конденсат, на пол, на нас, где мы методично били мешки или боксерские лапы, методично били прямо и сбоку, и я вспомнил те три раза, когда нанес особенно сильные удары, сокрушительные, что называется, удары, один раз гражданскому, хотя я не знал, был ли он копом, и потом он ничего не сделал, так как был один и застыдился того, что я вынес его с одного удара, и один раз какому-то мутному типу в клубе, и последний – нацику, который поругался со мной в ночном автобусе, – и все три раза это были исключительно удачные, тяжелые удары, после которых редко кто поднимается, и во всех случаях я действовал так, что просто поднимал левую руку и касался их лица, легким шлепком, легким, очень легким, не бил, а чуть ли не гладил, чтобы заставить их рефлекторно поднять руки для защиты, оголив туловище, ребра, селезенку, а сам тем временем занимал позицию для удара в корпус, то есть немного отступал назад, выставив вперед правое бедро и плечо, и потом оставалось только со всей силы, используя ноги и бедра, нанести хук, резко, как кнутом, держа локоть под идеальным углом, немного вверх и наискосок, и смотреть, как эти типы сползают вниз со сломанными ребрами и таким выражением лица, которое как бы говорит *нет, погодите, что происходит?* – но еще я вспомнил о том случае, когда сам получил трещину в ребре, после того как меня пнули в грудь, и ту боль – я так отчетливо ее помню, – то дыхание, такое поверхностное, осторожное, чтобы избежать боли, ту совершенно отвратительную боль, и противоречивые чувства, от того, что именно дыхание эту боль вызывает, а не дышать человек не может, он ведь должен дышать, ведь должен жить, и я не услышал, что сказал гитарист, и я почувствовал, что должен собраться, сконцентрироваться, так что я сфокусировал на нем взгляд и спросил: *«Airs»?* Как воздух? Человек ведь должен жить, снова подумал я. Да, как воздух, сказала композиторша. Как кроссовки, у тебя нет таких? Ну, смотри, она показала на мою обувь, на мои ноги, вниз на гравий. Как «Найк Эйрз», сказала она. Множественное число, воздух во множественном числе. Воздухи? – спросил я. И гитарист ответил: Да, так. И продолжил: Но тут нет никакой связи. Ну или в каком-то смысле есть, *air* или *aure*, означает типа песня или мелодия и на самом деле родственно арии, которая происходит от *air* или *aer*, ну то есть... он на мгновение потерял нить... хочу сказать, тут есть структура, ска-

зал он, она заключается в, почти заикаясь сказал он, заключается в, в, в том, что музыка там в колебаниях, в, в, в этом нет ничего странного. Хотя можно подумать... Тут я его перебил. Да, сказал я, звук – это ведь воздух, и... то есть я имею в виду... Я вдруг ощутил усталость и захотел пить, как при похмелье, только алкоголь я не пил. Ну, сказала композиторша, не совсем, но хорошо, типа колебания в воздухе, давление... Я зевнул. Изменение давления, да, конечно, это важно для обработки мелодии, или для остаточного звучания, резонанса, продукта, реверберации, не знаю, сильно ли глушат струны, играя на арфе, по-моему, вообще не глушат, хотя, наверное, должны, кстати, вероятно, это необходимо, имею в виду наверняка, само собой разумеется... Когда наступает весна, проходит еще один год, и мы проезжаем мимо еще одного озера. Повсюду трава, березы, небо. Дома, дома, дома. Березы, небо, еще один год прошел. Не верится. Мы прожили еще год. Большие помещения делились на много маленьких комнат, где не предусмотрена была вентиляция или освещение. Размер арендной платы зависел от размера комнаты и расстояния до улицы. Вскоре дом заполнился целиком, от погреба до чердака, жильцами, перебивающимися чем бог пошлет, морально павшими, неряшливыми – отверженными людьми, омерзительными, как сама нищета. Это как у Роберта Уайатта: *Be in the air, but not be air, be in the no air* ⁸, сказал гитарист, глухо рассмеявшись, и я искал мелодию некоторое время и вот она появилась, *Had I been free, I could have chosen not to be me* ⁹, но я промолчал, позволил ей звучать внутри меня. Какой паук сумел бы понять арахнофобию? Да, у меня начало проясняться, сказал он, что это значит... Но я не слышал. Я был где-то не здесь, ведь история про ребра напомнила мне о Кико, о последней нашей встрече, его книгах и о той последней ночи в сквоте, которая началась у Кико в квартире, а закончилась бог знает где. Я тогда впервые оказался у него дома. Я поехал туда на метро, ранним вечером, после работы. Я нашел улицу благодаря маленькой помятой карте, которую мне дал Арго, он вроде вырвал ее из бесплатной газеты. Я зашел во двор, открыв разболтанную дверь, покрытую тегами и остатками старых объявлений. На пороге было темно и сыро, и я отчетливо помню тяжелый запах мусора и застарелой мочи, что заставило меня прикрыть лицо рукой и ускориться. Двор представлял собой потрескавшийся, покрытый мхом квадрат асфальта перед двухметровой красно-коричневой кирпичной стеной. На стене кто-то баллончиком нарисовал ворота с вратарем в виде человечка из палочек, а в углу установили перекладину для выбивания ковров. Рядом стояли четверо детей, лет примерно десяти. Я осмотрелся. Наверх вели три лестницы. Я обратился к ребятам: Извините, вы не знаете, где живет Кико? Они посмотрели на меня, два мальчика и две девочки. Франциско? Маленький парень с дредами? Он хочет сказать «негр», тихо обратился к остальным один из мальчиков. Я вдруг увидел у него в руке большой кухонный нож, а другой мальчик показал верхнюю часть предплечья, где медленно кровоточили два длинных пореза. Эй, что вы тут творите? – спросил я. Он ничего не чувствует, быстро ответила старшая из девочек. Но что вы, черт побери, творите? – повторил я и подошел к ним. Мальчик с окровавленной рукой сказал: Это правда. Моя рука ничего не чувствует. Нос у него был заложен. Я заметил в ноздре маленькую соплю. Мы просто немного дурачимся, пояснил мальчик с ножом. Тебе какое дело? А ты дерзкий, пацан, сказал я и взял его за запястье, за руку с ножом. Смотри, а то получишь. Пошел ты, чертов придурок. Мальчик вырвался и одновременно уронил нож, потом плюнул мне в лицо и выбежал за захлопнувшуюся с грохотом дверь. Инстинктивно отвернувшись, я стер со щеки слюну и посмотрел на остальных детей. Старшая девочка слегка покачала головой. Вам не нужно было его трогать. Взрослые не должны трогать детей. Ничего не чувствующий мальчик смотрел на кровь, стекавшую вниз по его предплечью, по тыльной стороне ладони, между костяшек, средним и безымянным пальцем, вниз на землю. Ты в порядке? – спросил я. Моя рука ведь ничего не чувствует, снова сказал мальчик. Да,

⁸ Быть в воздухе, но не быть воздухом, быть не в воздухе (англ.)

⁹ Был бы я свободен, я мог бы выбрать не быть собой (англ.)

но кровь у тебя идет будь здоров. Тебе нужен пластырь, или повязка, или что-то подобное. Почему вас это так волнует, вы кто вообще такой? – не отступала девочка. Я развел руками и кивнул: Да, какой, блин, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Почему меня это волнует? Я повернулся к ним спиной, пошел назад к двери, бормоча, что они конченные, пытался типа выкинуть их из головы, но тут же обернулся и спросил: Так вы знаете, где живет Кико? Подъезд «С», сказала девочка, доставая бумажный платок. Второй этаж. Большое спасибо, сказал я, вложив туда максимум сарказма. Пожалуйста, чурка, тихо сказала она. Мальчик скорчил рожу и показал мне средний палец. Я остановился, чтобы развернуться и продолжить пререкаться, но понял, что это бессмысленно, только ненадолго сжал челюсти и пошел к двери «С». Я поднялся по лестнице, увидел имя Кико и позвонил в дверь. Открыл Кико. Как дела, Коди? Чем занимаешься? Да особо ничем, сказал Кико. Поигрываю тут немного. Я вошел в прихожую. О'кей. Во что рубишься? «Resident Evil»¹⁰. Я кивнул и заулыбался. Застрял в Рак-кун-Сити, а? Как всегда, чувак, сказал Кико, поморщившись. Блин, чувак, детишки у тебя во дворе совсем долбанутые, сказал я и повесил куртку на крючок. Я знаю. Можешь не рассказывать. Они совсем конченные. Еще и нацики. Мы вошли в гостиную. Жалюзи были опущены, стоял полумрак, и пахло табаком. Большая лавовая лампа и свечение от телика. Да, как минимум один из них. Просто у него брательник скинхед. Но он не опасен. Просто придурок. Любит крутить «Skrewdriver»¹¹ и всяких расистов, так что гремит по всему двору. Он рассмеялся и сел в кресло. Я подошел к лавовой лампе, наклонился вперед и проследил пальцем за красным, похожим на амебу сгустком. Я обычно ставлю в ответ «N.W.A»¹², а колонки у меня лучше, так что я всегда выигрываю. Не знаю. Надо бы надавать им по башке. Мы, наверное, слишком добренькие с этими чертями. Кико вернулся к игре. Я сел на диван и стал смотреть на зомби, заполонивших экран. Окровавленные руки, как у того нечувствующего мальчика. Хотя разок он, кстати, достал пистолет, сказал Кико, играя. Брательник или мелкий? Мелкий. Шутишь. Клянусь. «Беретту» со стертым серийным номером. Наверняка она ему перепала от карлика, знаешь, Карлоса. Единственный тип, из тех, кого я знаю, достаточно безбашенный, чтобы заманивать малолеток таким дерьмом, сказал Кико, покачав головой. Умеешь с таким обращаться? С чем конкретно? С «Береттой» еще туда-сюда, типа всякими моделями? На самом деле нет. Но эту модель я знаю, у меня такая давно была. Реплика, но все же. Продал ее, когда купил сэмплер «АКАЙ». А что случилось с мелким? Да ничего. Когда я не отступил, то отступил он. Как всегда. *Как всегда*, рассмеялся я. Хосси, не выпендривайся. Он спросил, не хочу ли я немного порубиться в «RE». Я сказал «нет». На столе лежали фрукты. Я спросил, можно ли взять яблоко. Конечно, сказал он. Бери красные, их много. Мы разговаривали, пока он играл. У него на журнальном столике я увидел книгу и прочитал обложку. Эдгар Аллан По. Кико сказал, что ему нравится По. Новеллы. Стихотворения кажутся устаревшими. Книгу ему подарила сестра, когда он лежал в больнице в Лондоне. Я спросил, почему он лежал в больнице. Он рассказал, что на него напали нацики в Севилье. Тогда он тоже порезал одному из них живот. Он не знает, как все сложилось у другого парня. Сам он получил сотрясение мозга, перелом ребер и дырку в легком. А в Лондоне вдруг рана на легком раскрылась или что-то вроде того, и ему снова пришлось лечь в больницу. Он сказал, боль была просто дикой. Он все время хотел все больше и больше морфина. Но когда боль исчезла, приятно было лежать и кайфовать вместе с По. Тогда Кико обнаружил, что любит читать. Он пошел в библиотеку и удивился, когда библиотекарьша, шестидесятилетняя тетушка, достала кучу книжек о зомби и старые немецкие стихи о трупах и тому подобном. Я спросил о нападении, и он рассказал,

¹⁰ «Обитель зла» (англ.).

¹¹ Skrewdriver – отвертка (англ.). Имеется в виду британская панк-группа, созданная в 1976 г.; позже стала поддерживать идеологию скинхедов.

¹² «N.W.A» – американская хип-хоп группа, основатели поджанра гангста-рока.

что это случилось ночью около железнодорожного вокзала. Я спросил, носит ли он с собой нож. Сейчас нет, сказал он. Но там все было иначе. В Испании ты должен носить нож, потому что там повсюду долбанутые расисты, сказал он. Отстой это все, сказал я. Но знаешь, По, он тоже был расистом, сказал Кико. Все, блин, расисты. Знаешь, как она меня назвала? – спросил я. Мелкая девчонка во дворе. Нет, сказал он и выключил игру и телик. И как? Чурка. Она сказала: *Пожалуйста, чурка*. Seriously? Дерьмово. Отстой. Я засмеялся. Прикинь? Знаешь, сколько я такого не слышал? Сколько? Так давно? Ну в лицо, да, давно. Seriously? Клянусь. Черт, помнишь первый раз? Я хорошо помню, чувак. Нет, я нет. О'кей, не помню, в каком году, но это было в футбольном лагере в 88-м, 89-м, 90-м, вроде того. Тебе тогда было типа десять-одиннадцать? Блин, так много? Клянусь, тогда был первый раз. В футбольном лагере. Я и еще кто-то, не помню, может Бесарт, кто-то еще, мы немного повздорили со старшими парнями, типа взяли их мяч. Тогда один из них сказал, его звали Магнуссон или Магнус, как-то так, короче, тогда он сказал нам «гребаные чурки». Я никогда такого не слышал, потому ничего не понял. Но потом я кого-то спросил. И мне сказали: Это значит приезжий, иммигрант, грязный черножопый типа, хотя я этого тоже еще никогда не слышал. И конечно, не мог это просто так оставить, так что, когда шел мимо этого Манге, или, может, его звали Тоббе, я ему зарядил в грудь, а может, в живот, со всей силы. Молча... больной, что ли? Да-да, молча, просто: *Бам*. Так что дальше? Что дальше? Он был меня на двадцать сантиметров выше. Он посмотрел на меня и врезал мне справа, так что треснула губа. Потом я получил взбучку от тренера и потом еще от мамы, за то, что подрался. Катастрофа. Да. Полная. Раздутая губа и стыд, что постоял за себя. А когда мне было типа десять, двенадцать, может, чуть старше... Тогда пришли неонацисты и собрались нас отдубасить. Какие, взрослые? Да-да, у них были машины и прочее дерьмо, мотоциклы. Приехали целой бандой довольно поздно, когда стемнело. Тренеры и старшие их выгнали, но мы типа чуть не обоссались. Ясное дело. Мы думали, они нас линчуют, чувак. Жесть, чувак. Суровые времена. Да. Полная жесть. Прикинь, что с ними сейчас. Чем они занимаются? Представь себе. Такой вот тип, который пугает детей. Вот честно. Я не хочу знать, сказал я, надеюсь, их больше нет. Нет, сказал Кико, скорее всего есть. Наверняка теперь они политики и скоро захватят всё вокруг. Некоторое время мы сидели молча. Потом ни с того ни с сего Кико рассказал, что у него где-то есть сын, с которым ему нельзя видеться, мама не хочет иметь с ним дело. Он показал мне фото младенца. Это жесть какой старый снимок, сказал он. Сейчас ему пять. Я его три года не видел. Мне нельзя с ним встречаться. Почему? – спросил я. Не знаю, ответил он. Я промолчал. Кико начал скручивать косяк. Все сложно, сказал он. Сложно? – сказал я. Он промолчал. Черт, я не знал, что ты папаша, попытался я произвести весело. Мы закурили. Очень маслянистый гашиш от замбийца из «Метро». У него мы брали травку «New York Diesel»¹³. Точно, у него. Торкнуло нас сильно, и Кико поставил Dj Screw¹⁴, которого я слышал впервые. «Still D.R.E.»¹⁵ из «Freestyle kingz»¹⁶, брат. Меня кроет, такой он крепкий. Мы оба не могли разговаривать, я посмотрел на Кико, глаза у меня превратились в узкие щелки, мышцы лица обмякли. Черт, чувак, я стекаю на пол. Пфф, сказал я и показал себе на лоб. Кико вдруг взял пульт, выключил звук и посмотрел на меня с реально обдолбанным видом. Слушай, сказал он, моя мама продавала ганжу в Кордобе, когда я был маленьким. Я молчал, все это казалось странным. Мы обычно не говорили «ганжа» – так чаще выражались всякие раста-пижоны. Я пытался думать, но все как будто замедлилось. Что он хотел сказать? Я не знал, что ответить, язык прилип к небу. Правда, только сказал я

¹³ «Нью-йоркский дизель» (англ.).

¹⁴ Диджей Скру (англ.) – псевдоним известного американского диджея Роберта Эрла Дэвиса-младшего, скончавшегося от передозировки наркотиков в 2000 г.

¹⁵ «Все тот же Д.Р.Е.» (англ.) – хит американского рэпера и продюсера Доктора Дре.

¹⁶ Дре не был участником «Freestyle kingz» (Прим. ред.)

и почувствовал себя таким же заторможенным, как музыка ¹⁷. Как будто по телу шли волны и толкали мою тушу вниз к полу, вниз на темно-синий ковролин, по которому я елозил ногами, туда, где валялись коричневые листья табака и пирамидки из упавшего у меня пепла. Во рту пересохло, но я смог набрать небольшое количество слюны, которую поместил на кончик указательного пальца, наклонился и как можно более осторожно прикоснулся к пеплу, чтобы он прилип к пальцу и вместе с ним оказался наверху. Я протянул палец к краю пепельницы и вытер его о штанину. Когда я посмотрел на ковролин, он был без изменений, темно-синий с хлопьями табака и кучками пепла, цилиндрическими и серыми. Я же их только что убрал? Меня снова потянуло вниз, рука продолжила вытирать палец о штанину. Кико выдохнул после глубокой затяжки и сощурился. Клянусь, сказал он. Кроет, сказал я. Я посмотрел на него и увидел, что он где-то застрял, он продолжал шуриться, а его брови превратились в две высокие дуги. Две дуги, две черточки и рот, который еще раз произнес, как будто механически, как будто заучивая реплику. *Моя-мама-продавала-ганжу-в-Кордобе-когда-я-был-маленьким*. Слова эхом отдавались в мозгу: *мама, ганжа, Кордоба*. Тут я рассмеялся: Кико, твою мать. Я не знаю, где эта Кордоба. Он тоже и со смехом: В Андалузии, путо. Включил звук, снова загудели басы, и мы слушали, и мы были настолько обдолбаны, что забыли скрутить еще косяк. Потом мы поехали и встретились с Суутом, Димой, Беккой, Санне и другими – Ади, Ольгой, Понибоем, Лахосом. Этот вечер оказался последним, и мы так и не попрощались. Суут, подумал я. Суут, чертов Суут. Гитарист показал на высотку и что-то сказал. Я взглянул наверх и увидел, что по крыше, на высоте десяти-двенадцати этажей как минимум, передвигаются два силуэта. Но только через пару секунд я понял, что, кроме указания «смотрите», то, о чем он говорил, не имело отношения к силуэтам на крыше. А Ланжиль ¹⁸, сказала композиторша, она тоже сделала кучу всего интересного, и пластинки, которые они записывали вместе, очень хорошие. Знаешь, иногда это наводит меня на мысли о Колетт Маньи, ты слышал ее интерпретацию Арто ¹⁹, где она шипит и шумит, и воет, и орет? Кстати, совершенно потрясающе. Не то чтобы так делает Ланжиль, но там есть тон, какой-то, как сказать, настрой, если понимаешь, о чем я. Композиторша посмотрела на меня. Кстати, к разговору о строе, как идут дела с микротональностью, раз уж мы говорим о настройке? Когда я пару секунд не отвечал, она добавила: *Pun intended* ²⁰. Суут скатился, подумал я. Я спасся.

Легкие движения воскового плюща, дрожание и слабые колебания, словно эхо движения струн, в сочетании с этим низкочастотным тоном, гулом – все это оставалось у меня в сознании, когда я увидел новую высотку и силуэты на крыше, с железной дорогой и парком путей на этом фоне, одновременно пытаюсь сказать что-то гитаристу и композиторше о Шельси и работе с микротональностью. Мы шли на Центральный вокзал, чтобы отправиться на поезде в Копенгаген, в Церковь Богоматери, на концерт Моосманна, и сейчас я катил свой велик двумя руками, и когда мы переходили дорогу, я огляделся, и на секунду показалось, что мне сложно сориентироваться, я не узнавал местность, и я подумал, что, наверное, круговую развязку тоже построили недавно, как и ограждение и скамейки, и мы шли вдоль канала, между водой и путями, по свежему асфальту, и я чувствовал, что велик катится по-другому – легче, плавнее, – и обувь не издает никаких звуков, ну, почти никаких, и гитарист сказал: Наверное у него для этого был какой-то особый инструмент? Да, сказал я. Ну, про особый не знаю, у него был так называемый ондиолин, вроде такой итальянский вариант клавиолина, который представлял собой ранний синтезатор. Композиторша что-то говорила про микротональный потенциал, и гитарист с энтузиазмом рассказывал о специально сконструированных инструментах Толга-

¹⁷ Характерная черта музыки Dj Screw – медленный темп.

¹⁸ Имеется в виду Сюзан Ланжиль (Suzanne Langille), американская исполнительница, которая работала вместе с гитаристом Лореном Маццаканом Конорсом.

¹⁹ Арто, Антонен (1896–1948) – французский писатель, поэт, драматург.

²⁰ Игра слов, каламбур (англ.). Зд.: Шутка.

хана Когулу с подвижными ладами, и я слушал частично, вполуха, будто потерянный, или рассеянный, ушел в себя, что называется, смотрел на граффити, снова, конечно, думал о Сууте. О том, как это быть бездомным и лежать прямо на земле. Гитарист с композиторшей говорили быстро, так быстро, что я за ними не мог угнаться, едва я успевал переварить слова, их значение, как следовала очередная тирада. Многие экспериментировали с микротональной настройкой, сказала композиторша, те, например, кто учился у Полины Оливерос, которая тоже этим увлекалась. Она обратилась ко мне: Рискну предположить, она много слушала Шельси. Братан, я так больше не могу. Русло реки. Такие образования, как отмели, намывные валы, остаточные озера и переплетающиеся речушки в дельте. И я подумал, снова: Я спасся. А Суут, я слышал, как он говорит *вишневый сад*. Именно так. Спасся. Это место, если оно – место. Это есть место, и это есть движение. Это – автобус на круговой развязке. Это автобус, который двигается вперед и по кругу, он кренится, и я напрягаюсь всем телом, держусь за рукоятку, автобус трясется, вибрирует, водитель прибавляет скорости, мы вот-вот вывалимся, наружу, назад, и я держусь за рукоятку и смотрю в потолок. А Элвин Лусье, та работа для виолончели и ваз ²¹? Ты играл ее? То есть это что-то совсем другое, но *звучит* похоже, или я ошибаюсь? Я думал о Сууте и о другом недавно умершем художнике, погибшем под электричкой. Не то чтобы я его знал или был знаком, я только читал об этом, и это стояло у меня перед глазами, как будто в фантазиях, я видел, как снова и снова умирает Суут, хотя вот с ним этого никогда не случалось, хотя я знал, что он внимателен, что он осторожен. Я действую осторожно, всегда говорил он. Я действую осторожно. Но никогда нельзя быть достаточно осторожным. Тот, другой, парень умер в четыре часа утра и оставил после себя последний тег, последнее пятнышко краски. Нет, сказал я, нет, но я слышал, как это играет Чарльз Кёртис. Красиво, да. Я смотрел на вращающиеся колеса велика, на спицы, которые исчезали и появлялись, исчезали и появлялись в движении. Так умиротворяюще и красиво, сказал я. Конечно, связь, возможно, есть. Но различий все-таки больше, по крайней мере если эти произведения сыграть. И я подумал о черно-белом муаровом узоры на конверте пластинки и работе Шельси с золотым сечением. В чем различие? Арифметика, геометрия, гармония. Разве не все есть математика или по крайней мере узор, повторение, вариация? Но Суут, думал я, Soot ²², так мы его звали, это был его тег, и я уже раньше думал об этом месте, когда, лет двадцать назад, об этом круговом перекрестке, когда я сидел в автобусе, и поднималось солнце, и я увидел на обуви следы крови, распухшие костяшки, но еще облака и небо, белое с голубым, а тем временем что-то коричневатое становилось зеленым и желтым в траве посреди перекрестка, который мы проезжали, автобус кренился, и меня тянуло к стенкам, я перемещался по южным окраинам, недалеко, совсем недалеко от садоводств, где выращивали, а может, и сейчас выращивают мяту и чеснок, тимьян и петрушку, морковь, редис и свеклу, наверняка недалеко от огороженных вишневых садов, которых я в жизни никогда не видел – *Вишневый сад продан!* – говорил Суут, и да, мы называли его Суут, хотя его звали как-то по-другому, потому что это был его тег, он любил произносить эти слова, *вишневый сад*, интересно, сколько он их помнил, как часто произносил под конец, сидя где-то, жалкий опустившийся наркоман, от которого отделились все, особенно те, кто его любил, сидел ли он и повторял эти слова сам себе, или говорил кому-то, слушал ли там кто-то такого чудака, *вишневый сад*, не знаю почему, думаю, что просто из-за звучания, ему просто было приятно это произносить, ему нравилось произносить *вишневый сад*, ему приятно было произносить это по-немецки – Kirschgarten, ему чем-то помогало произносить это по-русски – višňový sad, нравилось и по-английски – cherry orchard, или по-румынски – livada de vișini, или по-венгерски – cseresznyéskert, или по-турецки – vişne bahçesi,

²¹ Лусье, Элвин (1931–2021) – американский музыкант-экспериментатор, автор звуковых инсталляций, исследователь акустических явлений. Речь идет о его произведении «Музыка для виолончели с одной или несколькими усиленными вазами» («Music for Cello With One or More Aplified Vases»), 1993 г.

²² Сажа (англ.)

не знаю, в чем суть, в разных языках, разных звуках, просодических комбинациях, не знаю, может, он просто помнил реплику наизусть после какого-то занятия в школе, не представляю, откуда он ее знал. Вишневый сад продан! – говорил он. Кому продан? Кто купил? Я купил. Я купил! – говорил он. Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу, повторял он – недалеко, совсем недалеко от автомобильных мостов, инжира и кухонных окон с водяным кресом и лесными лужайками, где и сейчас плотным ковром расстилается кислица, не знаю, но все это происходит, в то время как автобус кренится, проезжая по круговой развязке, я держусь за серую пластиковую ручку, и напрягаюсь всем телом, и смотрю сквозь окно с мелкими царапинами, вверх на облака, да, на белые облака, это движение по кругу, но не только, еще другое движение, центробежная сила, мы двигаемся по кругу, по кругу, но еще и наружу, прочь, я еду по кругу и прочь, далеко прочь, так же как сейчас, я направляюсь прочь, далеко прочь, далеко от мигающих ламп дневного света на вокзале, прочь от всего, что я сделал, от Димы и Хекса, и детей в сквоте, и всего этого, и меня тянет прочь, в южную часть города, где я жил и обитал, на южную окраину, где город встречается с полем, где город встречается с лесом, где город встречается с горой, где все становится в каком-то смысле больше, а может, меньше, то есть как когда отдаляешь изображение, тогда ведь все становится больше и одновременно меньше, понимаешь, о чем я, Суут? Один в один, именно так, как когда отдаляешь изображение, все становится меньше и больше, больше и меньше. Понимаешь, Суут? Ты гордился этим, вернее сказать, по крайней мере любил это подчеркивать, происхождение, истоки, хотя обычный локальный патриотизм для нас всегда был недоступен, не говоря уже о патриотизме вообще, если бы нам это сейчас было нужно, потому что ни мы, ни наши родители никогда не жили на одном месте больше одного или двух, максимум трех-четырех лет, мы всегда отовсюду уезжали, и мы всегда и везде были новенькими, как только мы переставали быть новичками, как только переставали быть чужаками в каком-то месте, в сообществе, тогда мы покидали это сообщество, это место, этот район, а сейчас автобус кренится и меня выносит прочь и по кругу, по кругу и прочь, и знаешь, я думаю, когда я думаю о тебе, Суут, то часто начинаю разговаривать сам с собой, я повышаю голос, и встаю сбоку от себя самого, и начинаю разговаривать, или я встаю перед собой и начинаю разговаривать, как будто я это Суут, как будто я это кто-то другой, и мне становится стыдно, но я гоню стыд, не думаю о нарциссизме, я начинаю говорить, я – это Суут, я жую, я говорю, смотрю тебе в глаза, я посасываю зубы и сплевываю, я открываю рот и что-то говорю, я все время двигаюсь, хихикаю, говорю обо всем подряд, о песочницах, о ножах, о грязной нищенской одежде, обо всем подряд, правда, или почти обо всем, об украденных серебряных украшениях, о гимнастике, о диких парках, о том, как я нашел килограммы белого порошка, упакованные в полиэтиленовые пакеты и замотанные коричневой изолентой, когда играл в той роще, которую мы называли лесом, ближе к Тюгельшё, за водонапорной башней, помнишь, Коди, мне было семь, восемь, и мама позвонила в полицию, и они приехали и забрали пакеты, они ничего не сказали, но думаю, там был амфетамин, и, конечно, мы могли бы его продать и заработать кучу бабла, но мамаша о таком не знала, да даже если бы и знала, никогда бы не сделала, да и к лучшему, наверное, потому что точно кто-нибудь прознал бы об этом и потом за нами охотился бы какой-нибудь гребаный поляк из наркомафии, вот такое я громко говорю сам себе, я говорю: Коди, слушай, понимаешь, о чем я, Коди, вот такие были времена, я могу сколько угодно об этом рассказывать, о тех районах, о южных окраинах городов, сколько угодно, даже слишком много, о районах на юге, где тлеет ненависть, обо всем, откуда мы бежим, слишком много. Я говорю: Коди, Коди, Коди, от таких разговоров я всегда начинаю думать о похоронах, знаешь, Коди, всегда начинаю вспоминать мертвых, идти вместе с ними, идти рядом с ними, как будто я уже один из них, как будто мы снова идем на очередные такие похороны, снова, и все это не важно, здесь и сейчас, это ничего не значит, мы даже не знаем, кого кладут в землю, кто лежит в гробу. Кто это, Коди? Я не знаю, я спрашиваю остальных, но они не знают, мы не знаем,

но ничего страшного, ничего страшного, просто пара шагов, одна нога перед другой, легкие дышат сами по себе, глаза видят, уши слышат, вынужденно, оно живет, тело, вынужденно, оно двигается, по необходимости направляясь на очередные похороны, вынужденно на еще одни, но не мои, не Понибоя, не Лалика, не Дарри, нет, они просто уснули, и стоит открыть рот, как из него льется, как после выбитого зуба, похороны, тянет вниз, к земле, опускается в землю, просто льется, эти похороны, и эти люди, и эта нищета, меня тянет к этому, но не к моим собственным, не к похоронам Блерима, Шабана, или Чабанне, Йована или Йонни, не Шнурка, Влораса, не Вотана, Ахмеда или Арне, не Придурка, Бенни, Датчанина, нет, они просто спят, их имена сыплются, вытекают изо рта, но речь не об их похоронах, я не знаю, я просто иду дальше, бросаю взгляд на то, что выглядит как розовое небо с перламутровыми переливами, или это что-то другое, на темные звезды, или это что-то другое, *против* воли, *вопреки* смыслу, понимаешь, о чем я, Коди? Желание закрыть рот сильнее, поскольку звуки, покидающие мой открытый рот, не имеют смысла и поскольку с объективной точки зрения смысл в том, чтобы я ничего не говорил, потому что знаю: это-то и бессмысленно, и поверь, порыв заткнуться силен, порыв молчать о похоронах, перестать произносить имена Эрика, Рудде, Эльны, Сольмаза и Марцина, прекратить все это и замолчать навсегда, порыв силен, но тут, знаешь, как после выбитого зуба, рот этим забит, и оно должно излиться, потому что, насколько я знаю, так как я присутствовал при том, как Лейла от отчаяния отрезала себе язык, для организма вредно в больших объемах глотать кровь, поскольку тело, желудок не справляются с ней, там слишком много железа или чего-то такого, человеку становится плохо, его тошнит, он болеет, а сейчас мой рот полон этого, в нем привкус железа, и имен, и мест, событий и перемещений, полон воспоминаний и образов, у меня рот наполнен ее отрезанным языком, голова полна крови, я все время это вижу, мне мерещится это днем и снится ночью, у меня мозг полон этим, Коди, у меня рот полон кровью, у меня рот полон землей, у меня рот полон именами, у меня рот полон тобой, у меня рот полон твоими ушами и твоим ртом, у меня рот полон твоими сжатыми губами, твердыми, когда они прижимаются к моим, как будто их прикусили, у меня рот полон пеной, я посасываю зубы, и идет кровь, я ем землю, кишашую червями, которые переплетаются у меня в горле, ем землю и гравий, царапающие небо, рот у меня проваливается, изуродованный гримасами, прокусанный зубами, которые его растягивают и рвут на части, у меня рот полон фигурами, как на том плакате, у кого он был, висел рядом с Тупаком, Хендриком, Марли, Кобейном, вроде того. Не у Вилли, или как там его звали, нет, рот теперь полон землей, я не про Вилли Д, или как там его, гренландец, его мама была воспитательницей, не у него, мы звали его эскимо, мелкие ползали по грязному ковру в одной комнате и орал, он не мог произнести «С», вроде так, и не у того албанца, как его, все говорили, что он голубой, не знаю, и не у Джонни, даже не знаю, откуда он, откуда-то из Африки, не у него, но у кого же, соберись, Коди, может, у какого-то шведа, и не у той турчанки, слушай, я только через много лет понял, что они не турки, потому что они типа были армянами, христианами, или ассирийцами, или сирийцами, что-то такое, не знаю, но только подумай, все эти годы, когда все так думали, мы то и дело говорили *турок-придурок* и тому подобное, все говорили, что они богатые, что их родители были строгими и их били, не знаю, они должны были учиться, а если не могли учиться, то сразу открывали фирму, у кого-то было так, много иранцев, но у нас иранцев не было, знаешь, в основном юги ²³, чилийцы, венгры, цыгане, албанцы и поляки, никаких финнов, ну, может, несколько, арабы из разных стран, турки, афганцы, сомалийцы, парочка русских, куча бродяг-шведов, да-да. О'кей, я скоро заткнусь, обещаю, я тоже не хочу об этом говорить, я просто хотел сказать, что вспомнил о нем, о парне, если это был он, с тем плакатом, ну знаешь, солдат, умирающий, которого пристрелили, сзади, он падает, роняет оружие, запечатлен вот так, в воздухе, в падении, и там написано Почему? – Why? – помнишь,

²³ Имеются в виду югославы.

помнишь, как мы смеялись, как угорали, почему у него был этот плакат, его звали Дениз, он жил в учреждении, и на хрен, тебе я могу сказать, но рот у меня проваливается, изуродованный гримасами, прокусанный зубами, которые его растягивают и рвут на части, а во рту у меня эта картина, постер, плакат, белый фон, черные чернила, картина умирающего солдата, которого пристрелили и который роняет оружие и падает и там написано Why? – и я теперь знаю, чувак, у меня это вертится на языке, во рту, знаю, что мы слушали Боба Марли, у Дениза, то место у меня во рту, детское учреждение, исправительное учреждение, там, над кроватью у него висел этот плакат, и не знаю, но я помню, что мы там сидели и слушали, и он показывал мне статьи, которые вырезал и сохранял его брательник, и я помню, что увидел слово СВАЛКА, так что теперь у меня во рту и те газетные статьи, и я должен их жевать, буквы и картинки, я должен прожевывать те чертовы картинки, и те чертовы буквы, те чертовы слова, ведь там было написано не только СВАЛКА, там было еще кое-что, гораздо больше, там было так много слов, черным на белом фоне, и слова эти ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и СВАЛКА, вот эти слова у меня во рту, чувак, вот эти долбанные, мать их, слова у меня в долбаном, мать его, рту, Коди, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и СВАЛКА, и знаешь, мой папа мне сказал, что вот теперь мы попали в РАЙ, а в газете писали, что это ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВАЛКА и что это катастрофа, и мы приехали туда в 1982-м, в *рай*, кажется, а в 1985-м уже писали о *человеческой свалке*, писали, что район Хольма сегодня – место бедствия, человеческая свалка, так они писали, Хольма стал районом, куда помещали почти всех людей с проблемами, с молчаливого согласия социальной службы, это не суровый приговор газеты «Квельспостен», писали они, а сами живущие там люди так думают о своем окружении, утверждали они, и потом они писали, что репортеры «Квельспостен» в течение недели ходили по району, где встретили наркоманов, мигрантов, молодежь, которая любит драться, и еще они писали, что встретили борцов-идеалистов, которые хотят изменить жизнь в Хольме, идеалистов, которые надеются, что еще не поздно, писали они, и те провели там совсем мало времени, но уже, возможно, слишком поздно, а другие, например Рудде, Эльна, Сольмаз и Марцин и долбаная куча других, *туда еще даже не попали*, но было *уже слишком поздно*, то есть уже, возможно, слишком поздно, хотя некоторые еще не родились, и там были заголовки ШВЕЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ШВЕДСКОЙ, и ЖИВУЩИЕ НЕ ДОМА, и НОЖИ В СПИНУ, и АКТЫ ПИРОМАНИИ, и ПОДЖОГИ ТРАВЫ, это была своеобразная поэзия, острая и подлинная песнь о нашем детстве, затопленном в *geschäftsgeist* ²⁴, стих о нашей жизни, написанный заглавными и жирными буквами, с такими словами, как ДВА МИРА и СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ МИГРАНТОВ, и БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ, и ПУГАЮЩИЕ ФАКТЫ, которые повторялись для усиления эффекта, ПУГАЮЩИЕ ФАКТЫ и ТЕ, КТО МОЖЕТ, БЕГУТ, и вот этот снимок у меня во рту, фотография с темными угрожающими силуэтами, с молодежью, сфотографированной против света перед продуктовым магазином, против света в темноте, этот снимок, и я ведь в то время ничего об этом не знал, по крайней мере знал очень мало, потому что не был одним из тех, кому выпало стоять и позировать перед камерой фотографа, я не был одним из тех, кому выпало стоять и хвастаться ударами с вертушки и ножами-бабочками перед репортером из «Квельспостен», репортером, так до краев наполненным поэзией и стихами и искусством формулировок и чернотой и *geschäftsgeist*, что поэзия, вероятно, вытекала у него изо рта, как кровь, но текла она целенаправленно, кровь доброй воли, очищенная от насилия, кровь, идущая от доброго сердца, да, кровь, как после выбитого зуба, но у него во рту, и она стекала вниз ему на блокнот, а потом затекала дальше в печатные станки, где ее размазывало по бумаге, которую обрезали, собирали и отправляли назад, в мир, где она всасывалась в мозги людей через глазницы, через зрачки, как будто люди были блохами, обыкновенными постельными блохами, обыкновенными человеческими блохами, как будто их способность читать – хоботок, а газета, сама бумага – кожа, к которой они

²⁴ Дух коммерции (нем.).

прицепляются маленькими, но невероятно сильными крючками, а содержание, значение, само предложение – кровавая черная поэзия, вытекшая из рта репортера, и кровь, которая с помощью этого акта паразитизма, этого акта паразитизма снаружи, всасывалась в человеческие тела, разливалась по их конечностям, примерно таким же образом и в таком же порядке, как младенец развивает свою двигательную активность, крупную моторику и мелкую моторику, то есть сначала попадала в глаза, через хоботок, а потом в лицо и вниз по шее, затем в руки, вниз по корпусу, и в самую последнюю очередь вниз в ноги и в ступни, до самых пальцев, что называется, по всей ширине и на всю глубину, от макушки до кончиков пальцев, что называется, и потом, когда люди двигались, когда они занимались своими делами, когда просыпались и завтракали, когда мылись и одевались, когда, что называется, покидали свой уютный уголок, да, то чернота оставалась там всегда, и когда они потом врывались в мир, свободные и самоуверенные, полные куража и *geschäftsgeist*, да, то темная кровавая поэзия утекала в атмосферу, примерно как невидимый и лишенный запаха газ, и когда она потом к нам возвращалась, когда мы вдыхали ее, то тоже ею наполнялись, мы, кто там даже не был, и я, кто ничего об этом не знал, я, кто не был частью этой молодежи, я, кто скорее был их младшим братом или соседом, или одноклассником, или тем, кого они пугали, когда я шел с набитой наивными мыслями, озорными мечтами и смелыми надеждами головой, которые вскоре из меня выбьют примерно так же, как приучают к лотку кошку, и таким образом паразитический акт снаружи стал паразитическим актом изнутри, темная кровавая поэзия, берущая начало в наших собственных поступках, заполнила наши тела, как поселившийся в организме ленточный червь, он живет и растет в кишках, питается нашим дерьмом, присасывается к нам крючьями, и присосками, и бороздками, понимаешь, Коди, вот это у меня во рту, вот такие черви у меня во рту, с такими крючьями, и такими присосками, и такими бороздками, я жую их, у меня во рту кишки, у меня во рту собственные кишки, и, наверное, поэтому у меня никогда не получалось сложить это все в голове, ведь папа сказал, что теперь мы приехали в рай, и я знал, что это самая богатая страна в мире, но в газете писали, что это человеческая свалка и что это катастрофа, и я не знаю, переехали мы туда в 1982-м вроде, а про *человеческую свалку* они писали в 1985-м, и тогда так наверное оно и было, ничего страшного, и что делать на свалке, ну, не делать ничего и создавать хаос, как-то так, а потом смеяться над взрослыми, которые не выдерживают и плачут у тебя на глазах от фрустрации и направленной не в ту сторону эмпатии, или что скажешь, ничего, и хаос, как уже было сказано, больше ничего, это было ничто, а ничто было чем-то, и то, что все-таки было чем-то, – это хаос, вокруг пахло спиртом, кошачьей мочой, потом и переполненной пепельницей, то, что было чем-то, причиняло боль, это был вот тот смех, то, что мы знали, что это такое оружие – смеяться над всем и говорить, что нам на все насрать, брат, нет ничего, что ты бы мог сделать со мной, что было бы хуже, чем то, куда я прихожу домой каждый вечер, сплошной хаос, брат, и так оно и было, и в этом не было ничего такого, и сейчас, когда я это вспоминаю, я в основном удивляюсь тому, что мы не делали ничего похуже, что мы не жгли больше, что мы все-таки были умеренными, поджигали только траву, и детский сад, и тот сарайчик у гаража, и пару машин и мотоцикл, какой-то сарай около парковки, но никогда школу и наши собственные дома, хоть мы на самом деле пару раз пытались, или удивляюсь тому, что я не прибил Данне, когда он сказал, что мы падальщики, потому что хоть все и знали, что это человеческая свалка, это место, не хотелось создавать впечатление оборванца, так что да, я избил Данне до полусмерти за то, что он обозвал нас падальщиками, кем мы и были, действительно, знаешь, но это не важно, вернее, это *было* не важно, он не должен был так говорить, это не то, о чем ему стоило говорить, понимаешь, но это было правдой, случалось то и дело, что мамаша кричала нам, что нашла новый контейнер, тогда мы шли во двор и отвязывали велики и катили к металлическому ящику с барахлом, стоявшему где-то в Бельвю, Кулладале, Грёндале или Эртхольмене, куда народ выкидывал более или менее целые вещи, которые не сломались, по крайней мере окончательно, вещи, которые еще можно использовать,

вещи, которые можно было починить, переделать, найти им какое-нибудь применение, и один из нас, или двое, или все трое, в зависимости от того, нужно ли было стоять на стреме, запрыгивали в контейнер и приподнимали всякий мусор и искали работающие вещи, и нам было стыдно, это снова та же тема про человеческую свалку и все такое, думаю, ты понимаешь, о чем я, и иногда мы ничего не находили, а иногда находили что-то, и если мы находили то, что могли забрать домой и пользоваться дома, нам становилось стыдно еще больше каждый раз, когда мы видели эту вещь, поскольку, каждый раз заходя в комнату и видя лампу или занавеску или стул или ковер, мы знали: эта вещь, этот тостер, этот поднос, этот кувшин – из контейнера, мы это там откопали, и, значит, мы были мусорщиками, без всяких сомнений, железно, и то же самое касалось вещей, которые я подрезал, всего добра, которое я спер, как то радио, которое я прихватил при взломе сада, когда Карлос рухнул вниз через чердачное окно и я прыгнул за ним, он подвернул ногу, а я немного порезал руку, и я спер радио, я его украл и наврал матери, что нашел его в мусорной камере или в контейнере, что его кто-то выкинул, потому что, видимо, купили новое, но на черном пластике были выжжены буквы, гласившие, что радио принадлежало муниципалитету, что оно является собственностью города, что оно является собственностью государства, но я уничтожил эти буквы зажигалкой и расплавил пластик, сделав его липким и тянущимся, размазал те казенные буквы и вот сказал, что нашел его и что кто-то его выкинул, потому что, наверное, он оказался на плите или что-то вроде того, и не знаю, поверила ли она мне, но это ведь могло быть правдой, и потом это радио стояло у нас на кухне, на подоконнике, много лет, отлично работало, и я им пользовался, красивым черным радио с красными деталями и буквами, которых больше не было видно, которые больше не имели значения, активно им пользовался, брал в свою комнату по вечерам и слушал, слушал радиопередачи, передачи из другого мира, передачи с другой стороны света, с другой стороны огромного океана, который, как я запомнил, отдельные дети могли пересечь на маленьких дингах, деревянных лодочках, сделанных из уложенных плашмя стульев и столов, с парусами из простыни и полотенец, и я закрывал глаза и слушал, закрывал глаза и видел перед собой совершенно другие миры и совершенно другую жизнь, жизнь других, более хорошую жизнь, пока слушал передачи с такими названиями, как «Eldorado», и «Inferno», и «Soul Corner», и «Slammer»²⁵, и я слушал, и думал, и слушал, и быстро научился узнавать звуки, которые мне нравятся, такие, что звучали не так, как те, к которым я привык, но еще и слова и звуки, разными способами рассказывавшие о знакомой мне жизни, о горе и злости, и стыде, и ненависти, и ярости, как когда дома у Элеоноры я впервые услышал группы «Godflesh» и «Slayer» – «Божественная плоть» и «Убийцы», – и в тот момент, когда я слушал, моя жизнь будто стала лучше, будто она и правда по-настоящему стала значительно лучше, только от того, что какой-то чел стоял и орал в студии, моя жизнь словно стала другой, когда я лежал там, прислонив ухо к маленькому государственному динамику, когда я записывал песни или передачи целиком, чтобы слушать их снова и снова, но я все время помнил, что динамик ворованный, что я спер эту фиговину, и то же самое было и с лампами, и с подсвечниками, и рамками для картин, при каждом их использовании нам приходилось испытывать стыд, и мы знали об этом, когда стояли там, в контейнере, и озирались, мы порвали мешок с вещами и стали их проверять, проверяли, можно ли их носить, подходят ли они, целые ли, не воняют ли дерьмом, или мочой, или блевотиной, или плесенью, и у нас был двойной страх быть пойманными, с одной стороны – жильцы, дворники, копы и так далее, с другой – люди, которых мы знали, страх получить клеймо *мусорщиков*, кем мы и были, страх получить клеймо нищелюбов, кем мы и были, социальными отбросами, да, гребаной нищей семьей мусорщиков мы действительно были, именно такими мы и были, нищими отбросами, рывшимися в контейнере в поиске чего-то пригодного для наших домов, хороших вещей для наших тел, и мы оставались мусорщиками, пока за всей фигней не начала

²⁵ «Эльдорадо», «Ад», «Уголок души», «Тюрьма» (англ.).

присматривать охрана, и те, кто выбрасывал хорошие вещи, не стали запирасть свой мусор на замок, потому что он принадлежал *им*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.